

выбрать хотя бы одно из трёх. При этом следы Гипербореи автор искал именно на Кольском полуострове, для остальных же районов подбирал лишь объяснения, почему этих остатков там нет. Но науку такие «объяснения» не удовлетворяют, а вера могла бы обойтись и вовсе без доказательств.

Чтобы обеспечить убедительность получившейся конструкции, В. Н. Дёмину приходится запретить некоторые способы рассуждений. Так, любые сходства мифологических сюжетов или языков трактуются только как признак их общего происхождения — иначе-де: «Логичнее было бы предположить, что в случае обособленного возникновения языков законы их функционирования также должны были быть особенными, не повторяющимися (гомеоморфно или изоморфно) друг друга. Такое совпадение маловероятно!» (Дёмин 1997: 31). Мысль, что речь идёт не о совпадении, а о закономерности, причины которой лежат вне языка, автором не допускается: своё утверждение, что «ничего случайного, по большому счету, не бывает» (Дёмин 1997: 79), сам автор понимает крайне прямолинейно. Между тем ещё со времён Гегеля известно: слабость всех классических каузальных объяснений — в упрощённом понимании как причин, так и характера их связи со следствиями.

В таком случае уместны парады примеров, рассчитанные на самом деле лишь на неинформированность читателя. Так, масса случаев, когда в мифологиях самых разных народов обнаруживается мифологема лебеда, — ещё не доказательство её первостепенной роли. Ещё больше их можно подобрать для мифологем льва, змея, дракона. Точно так же непонятно, почему символами Вселенной оказываются только спирали и лабиринты (Дёмин 1997: 175—195). А. Голан (1994) приводит ещё больше примеров треугольников, кругов, волнистых линий и т. д. с собственными толкованиями.

В результате получилась достаточно скромная по содержанию и наивная по структуре концепция, ненаучности которой не может уравновесить ни пафос, ни патриотизм.

IV.7. Филологические кунштюки

XX век — век кризиса классической науки и свойственных ей критериев научности. Стало ясно, что эти критерии слишком жёстки, а в гуманитарной сфере (самой важной для нас, ибо что же нас интересует больше, чем человек?) — порой недостижимы. С этого начинается поиск альтернативных способов познания, не менее информативных, чем те, что пытался навязать всем наукам физикализм. На практике это означало, что мы будем использовать *ненадёжные источники* и добывать из них крупинцы истины с помощью герменевтических процедур.

Долгое время главное место в этом процессе отводилось археологии. Ведь археологические источники сами по себе обычно бессловесны, они требуют особых способов прочтения и истолкования. Поэтому археология превратилась из «науки о битых горшках» в «вырвавшуюся далеко вперёд саму герменевтику гуманитарного знания» (Ткачук 1996: 176). В этом смысле понятие «археологии» к вещам, отнюдь не требующим раскопок, применял уже М. Фуко. Л. С. Клейн указал в своё время, что в археологии ученый имеет дело с двойным разрывом: в традиции (между прошлым и настоящим, между их способами объяснения мира) и в объективации (разрыв между миром вещей, достающихся исследователю, и миром идей, на язык ко-

торых он должен перевести язык вещей). Соглашаясь с этим, М. Е. Ткачук, однако, возражает Л. С. Клейну, что этот двойной разрыв — не специфика одной лишь археологии (так, большинству из нас непонятен смысл не только трипольских биноклевидных сосудов, но и наисовременнейших деталей особо сложной техники, которой мы же и пользуемся), что отсутствие разрыва «между миром идей и миром вещей» в истории письменного периода — это не преимущество, а ловушка (рождается иллюзия полного понимания там, где на самом деле непонятно самое главное), так что преимущество археологии — в том, что здесь этот разрыв заметен сам собою.

Такой подход, однако, родился не сразу. Сначала археологию попытались использовать в «чрезвычайно национальных» целях — для доказательства исконности обитания «наших» в любой намеченной области. Спор между немецкими и польскими археологами, учениками Г. Косинны, о приоритете национальных прав на польское Поморье показал неубедительность археологических аргументов в подобных вопросах (Клейн 2000: 125—126). Тем не менее нацисты активно эксплуатировали археологию. К моменту их прихода к власти в Германии была лишь одна кафедра археологии — в Марбурге. Нацисты создали ещё семь — от Тюбингена до Кёнигсберга, а число пре- и протоисториков возросло более чем вдвое (Навманн 2002: 89—92). Некоторые исследования, проведённые в ту эпоху, дали действительно ценные результаты, но их польза сводилась на нет теми целями, для которых их применяли. Урок нацизма послужил одним из главных толчков для выработки в археологии строгих герменевтических процедур. В наши дни уже невозможно доказать всё, что угодно автору-«патриоту», на основе первого же попавшего в его руки черепка.

К сожалению, этот переход не состоялся в лингвистике. Для многих лингвистов до сих пор, по выражению Вольтера, «гласные не в счёт, а согласные не имеют значения». Законы языковых соответствий и развития языка до сих пор далеки от строгости. Мало того, широкая публика склонна считать случайные созвучия доказательствами — особенно если доказывается то, чего хочется, да и подпись под статьёй солидна. Сфера эта к тому же кажется лёгкой. К ней вполне подходит замечание того же Х. Хассмана: «Довольно неопределённая, но общедоступная область» (Навманн 2002: 116). Вряд ли случайно поэтому Л. Н. Гумилёв (1990: 235) со ссылкой на В. И. Вернадского признаёт филологию царицей гуманитарных наук.

Произвольные этимологии применялись давно, и многие из них сейчас способны вызвать лишь улыбку. Так, А. де Буленвилье со ссылкой на «одного очень разумного автора» (видимо, граф требует поверить ему на слово чести) уверял, что салические франки — дружинники первых королей-завоевателей, вышедшие из своих племён, — получили имя от латинского *saliendo* («выходя»), «так же как называют сегодня казаков (*les Cosaques*) от славянского *Coza*, что значит коза, то есть легко передвигающиеся» (Boulainvilliers 1727: 3—4). Однако лишь после появления современной научной лингвистики апелляции историков-дилетантов к её авторитету стали систематическими и изошрёнными. В работах В. Н. Дёмина и А. Голана эти экскурсы занимают до половины всего объёма.

Примеров злонамеренного использования натянутых лингвистических параллелей в наши дни много. Вот один из ярких примеров. Философ-постмодернист, одна из «звёзд» феминизма в современной Франции, Люси Иригарей, утверждает:

«Если тождественность субъекта определяется у Фрейда через Spaltung⁸¹, то это слово указывает также на ядерное расщепление. Ницше также воспринимал своё эго в качестве атомного ядра, которому угрожает взрыв» (Сокал, Брикмон 2002: 95). Комментируя этот перл, критики (физики-профессионалы) резонно замечают: «О Ницше: атомное ядро было открыто в 1911 году, а атомное расщепление в 1919 г.; возможность цепной ядерной реакции, влекущей взрыв, была теоретически исследована в 1930 годы и получила свою печальную реализацию в 40-е годы. Поэтому в высшей степени маловероятно, чтобы Ницше (1844—1890)⁸² мог воспринимать свое эго “в качестве атомного ядра, которому угрожает взрыв”. (Что, несомненно, не имеет никакого значения: если бы даже утверждение Иригарей было верным, что из него бы следовало?)» (там же).

Не стоит множить подобные примеры дальше — им же несть числа. Ограничимся нашими авторами.

Розенбергу всё кажется ясным, поэтому экскурсы в лингвистику у него редки. Напомним лишь: «Varna heißt Kaste, Varna aber heiße auch Farbe» («Варна означает касту, но варна означает также цвет» — Rosenberg 1934: 28). Ему достаточно классического расизма.

У Гумилёва эти экскурсы чаще и изощрённее. Например, римскую подземную тюрьму для рабов — эргастерий — он считает «фабрикой» (Гумилёв 1990: 84), а об одном из римских императоров замечает: «Коммод (прозвище, соответствующее его психике)» (Гумилёв 1990: 210). Справимся со словарём:

«**com-modus, a, um** 1) надлежащий, полный, хороший <...>; 2) здоровый <...>; 3) удобный, благоприятный <...>; 4) услужливый, обходительный, предупредительный, любезный» (Дворецкий 1976: 212).

Что из этих значений «соответствует психике» Марка Аврелия Антонина Коммода, ставшего притчей во языцех как полоумный тиран и недостойный сын императора-философа?

Но что латынь? «Латынь из моды вышла ныне...» (Евгений Онегин, I, VI).. То ли дело китайский язык, в советское время редкий!

Например, автору не нравится У Цзэтянь (698, фактически 682—705) — китайская Екатерина II, единственная женщина, официально занимавшая трон Поднебесной и успевшая за это время провести важнейшие реформы. В частности, именно при ней окончательно сложилась система экзаменов на чин — основа формирования китайского правящего сословия до 1905 года. Но именно это не устраивает Л. Н. Гумилёва: критикуя китайскую бюрократическую систему, он метит в советскую (как и Л. С. Васильев, и многие другие «азиатчики»). И тут вдруг оказывается: «Китайская императрица У, что значит “попугай”» (Гумилёв 1990: 79). Почему вдруг?! Фамильный иероглиф императрицы 武則天 *Wǔ Zétiān* буквально означает «воинственность»; иероглиф же «попугай» (鸚 *wū*) в китайском языке не является фамильным знаком.

Всё проясняет признание: «... французские иезуиты и прочие католические миссионеры создали основную литературу по истории Китая, избавив, в частности, меня

⁸¹ Словарные значения немецкого слова Spaltung: «1. расщепление; 2. раскол (страны и т.п.); 3. разногласие; 4. разрыв, несогласованность; Spaltung des Bewußtseins (мед.) — раздвоение сознания; 5. (яд. физ.) расщепление; деление (атомного ядра); 6. (хим.) расщепление, крекинг».

⁸² Здесь ошиблись уже сами критики: Ницше умер в 1900 г., хотя его творческая жизнь оборвалась из-за психической болезни в начале 1889 г.

от необходимости учить китайский язык. Достаточно читать по-французски, по старой орфографии» (Гумилёв 1990: 180). Так вот откуда у Гумилёва такая странная орфография китайских имён? И имён кочевников в китайской транскрипции! Но тогда это просто безграмотность, ведь он эти имена толкует! Такое можно делать, только если умеешь читать оригинал, а не французский перевод с его несовершенной транскрипцией! Как минимум, необходимы ссылки: толкование не моё, а такого-то! Как же он тогда переводил китайскую поэзию — например, Бо Цзюйи? Можно ли в таком случае доверять его переводам (см.: Крюков, Малявин, Софронов 1984: 140)?

Ведь французская транскрипция, созданная миссионерами, во-первых, не совпадает с современной (пиньинь). Достаточно нескольких примеров, чтобы сопоставить французскую транскрипцию (Petit Lagousse, 1962), пиньинь (латинскую транскрипцию, официально принятую в КНР), и усовершенствованную транскрипцию о. Палладия (Кафарова), принятую в русском языке:

Иероглифы	Французская транскрипция	Пиньинь	Русская транскрипция
福州	Fu-tchéou	Fuzhou	Фучжоу (город)
夏	Hia	Xia	Ся (династия)
熱河	Jehol	Rehe	Жэжэ (бывшая провинция)
甘肅	Kan-su	Gansu	Ганьсу (провинция)
貴州	Kouei-tchéou	Guizhou	Гуйчжоу (провинция)
毛澤東	Mao Tsé-toung	Mao Zedong	Мао Цзэдун
四川	Sseu-tchuan	Sichuan	Сычуань (провинция)
浙江	Tche-kiang	Zhejiang	Чжэцзян (провинция)
成都	Tcheng-tou	Chengdu	Чэнду (город)
天津	Tien-tsin	Tianjin	Тяньцзинь (город)

Во-вторых, французская транскрипция основана не на современном нормативном китайском языке путунхуа, изучаемом сейчас во всём мире, а на «мандаринском диалекте» — языке общения чиновников старой империи, у которого даже звуковой состав был несколько иной. В-третьих, мандаринский диалект лишь на один шаг ближе к произношению *описываемой эпохи*, которое сейчас поддаётся лишь гипотетической реконструкции. И в-четвёртых, Гумилёв пользуется этими транскрипциями, чтобы реконструировать *тюркские и монгольские* имена собственные, записанные на слух китайцами не позднее эпохи Тан (VII—X в. н. э.) и переданные иероглифами на основе *тогдашнего* произношения. Для сравнения приведём современные географические названия в подобной записи: 莫斯科 *Мосыкэ* ‘Москва’, 聖彼得堡 *Шэн-Бидэбу* ‘Санкт-Петербург’, 倫敦 *Луньдунь* ‘Лондон’, 巴黎 *Бали* ‘Париж’, 羅馬 *Лома* ‘Рим’, 俄羅斯 *Элосы* ‘Россия’, 摩爾多瓦 *Мозрдова* ‘Молдова’... Никакой записи, более близкой к оригиналу, иероглифы не допускают: каждый из них обозначает только целый слог, притом число слогов весьма ограниченное (в путунхуа — всего 403). При этом запись могла быть и не фонетической, а смысловой или даже смешанной: в названии Санкт-Петербурга первый элемент — *sanctus* ‘святой’ — передан схожим китайским *понятием* 聖 *shèng* ‘совершенномудрый’, остальные три иероглифа передают *звучание* второго элемента,

Если имена, допустим, тюркских ханов дошли до нас только в такой записи, да потом ещё их звучание изменилось за тысячу лет (от гибели древних тюрков до появления в Китае французских миссионеров), да потом исказилось и написание —

за счёт несовершенной французской транскрипции, — о какой обоснованности вообще идёт речь?! Правда, Л. Н. Гумилёв (1967: 90—91) ссылается на реконструкции М. Ф. Хвана на основе китайского произношения VI—VII вв., но само это произношение нигде не записано, лингвисты его восстанавливают по косвенным признакам (словари рифм, японское, вьетнамское и корейское чтение иероглифов), а стало быть, оно всё же остаётся гипотетическим. И сам же Гумилёв приводит на тех же страницах примеры принципиально разного прочтения одних и тех же имён в китайской записи.

В какой-то мере то же относится и к монгольским именам. Так, упоминаемый у Гумилёва «Ариг-Буга» у монгольских историков зовётся Ариг-Бог («Святой борец») или даже Алаг-Бог — «Пёстрый борец» (Далай 1983: 34, 185), хан Мункэ — Монкэ-хаган и т. п. Видимо, от знания монгольского языка его тоже избавили какие-нибудь переводчики? Но зачем привлекать источники, которые не можешь проверить?

Некоторые случаи могут объясняться только сознательной натяжкой, как бы мы ни старались быть беспристрастными. Например: «Термин “орда” совпадает по смыслу и звучанию с латинским “ordo” — орден, т. е. упорядоченное войско с правым (восточным) и левым (западным) крыльями» (Гумилёв 1990: 192). И это пишет специалист по кочевникам? Не он ли обозначает это «упорядоченное войско» как *улус*? Ему ли не знать, что рыцарские ордена не делились на «крылья»? Ему ли не знать, наконец, что *ордой* назывался *ханский шатёр* или *ставка*, что китайский историк XIII в. Е Лунли, приводя киданьский термин *волудо* 斡魯朵 (орда), постоянно передаёт его словом *гун* 宮 ‘дворец’ (Е Лунли 1979: 515—518, комментарий В. С. Таскина)?

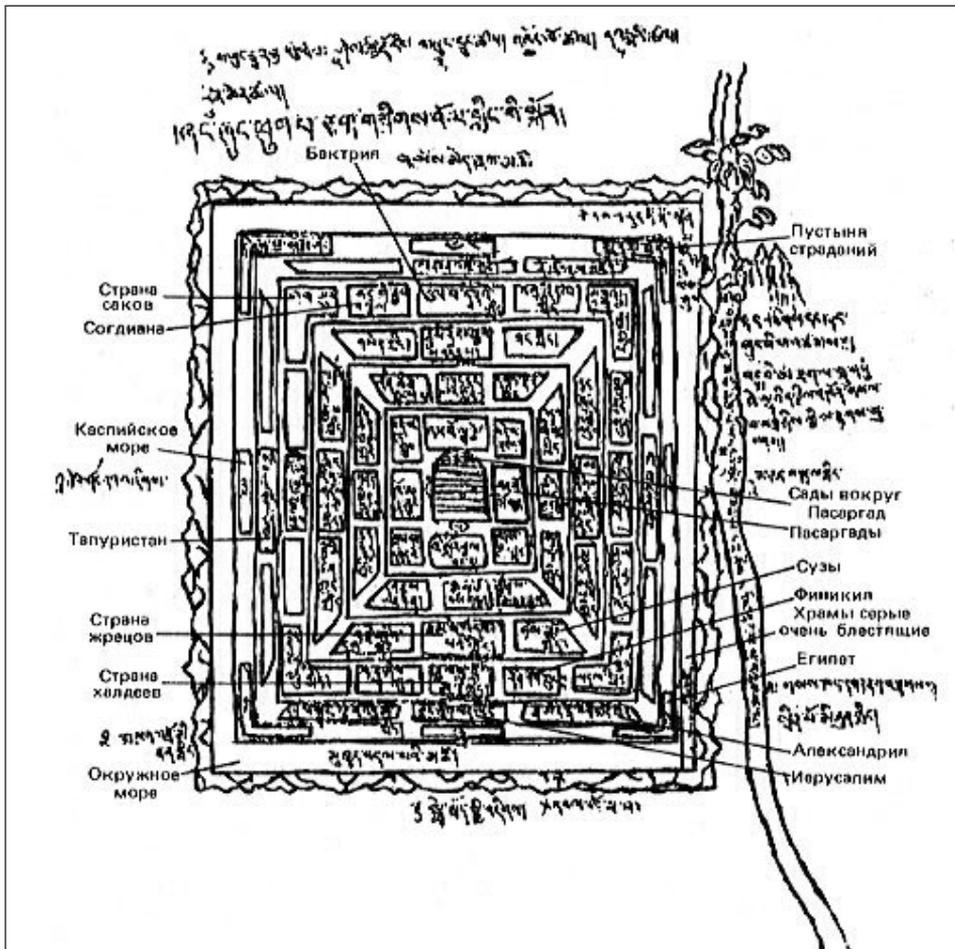
Методы филологической работы Л. Н. Гумилёва видны в его совместном с В. И. Кузнецовым анализе карты легендарной страны Шамбалы. Карта эта приведена в «Тибетско-шаниунском словаре», изданном в Дели. Год публикации не указан, но в списке литературы приведена ссылка на другую книгу того же издательства (Tibetan Bon Foundation), датированную 1965 г., — стало быть, издание современное. Откуда взялась карта в этом словаре, какова её история — в обеих посвящённых ей статьях не сказано (Гумилёв 1968; Гумилёв, Кузнецов 1969; ср.: Гумилёв 1990: 256, где, однако, говорится, что карта находится в Ленинграде). На основании этой карты Шамбала отождествляется с царством Селевкидов (Гумилёв 1990: 256), точнее — с «наследием Александра»: среди реконструируемых названий оказались и Египет, и «Иония» (Балканская Греция), никогда Селевкидам не принадлежавшие. Отождествление основано на совпадении имён собственных, далеко не всегда убедительном:

Название на карте в транскрипции авторов (Гумилёв, Кузнецов 1969)	Авторское толкование (там же)
Bar-po-so-brgyad	Пасаргады
Kho-ma-ne-chung	«Карамания» (Керман)
Dge-rgyas-yon-tan	Гиркания (Гурган)
Mi-gYo-bsam-gtan	Месопотамия (?)
Drang-srong-'gro-dul	«Дрангиана покорённая»
Hos-mo	«Страна Хос или Сузы»
A-ba-dva-ra'i-gling	Бактрия
Seng-ge-rgyab-bsnol	Согдиана
Shag-yul	«Страна Сак» (саков)

'O (d)-ma-'byams-skya'i-yul	«Великие саки» (массагеты)
Ma-thang-bsgral-gling	Мадагаскар
Ne-seng-dra-ba'i-grong-khyer	«Город Несендры», т. е. Александрополис, или Александрия»

При этом читатель должен сам проверить (если хочет), действительно ли имя «Александр» могло звучать в Индии или Тибете как «Несендра». А на такой вопрос даже из историков ответят немногие.

Другая часть названий переведена буквально и отождествляется либо по смыслу описания, либо по положению на карте. Но до сих пор неясно, почему, например, саки в одном случае — *shag*, а в другом — *skya*, каким образом составителям известен Мадагаскар (на карте этот участок расположен вплотную к азиатскому побережью) и почему древняя иранская Кармания (ныне Керман) превратилась в средневековую малоазийскую «Караманию» (Гумилёв, Кузнецов 1969: 94), так же как в другом месте хребет Каракорум — в пустыню Каракум (: 98). Впрочем, печатки



«Карта Шамбалы» с расшифровкой названий (Гумилёв 1968; Гумилёв, Кузнецов 1969)

в книгах Л. Н. Гумилёва, в том числе и выпущенных в авторской редакции (1990), — отдельная тема: ещё Б. А. Рыбаков (1971: 157) на стр. 326 первого издания «Поисков вымышленного царства» обнаружил «в пяти строках семь ошибок (вместо “кровопитья” наборщики набрали “кровопроты” и др.)». И здесь мы упоминаем об этом лишь потому, что именно в филологических вопросах ошибка в одной букве может стать катастрофической. Вспомним хилую букву «йота» в словах *homousios* — *homojiosus* («единосущен» или «подобосущен» Христос Богу-Отцу), ставшую формальным поводом к беспощадной войне между никейской верой и арианством!

Башня в центре карты отождествляется с гробницей Кира в Пасаргадах, вслед за чем встаёт вопрос: была ли она десятиэтажной, как сообщает «историк Онексерит» (по-видимому, Онесикрит), или только двухэтажной, по Аристу Саламинскому? «Эти противоречия устраняются с помощью нашей карты. В центре её изображена именно эта гробница и видно, что в ней было десять этажей, которые отчётливо показаны чертёжником» (Гумилёв, Кузнецов 1969: 93—94). Но зачем гадать? Ведь гробница Кира сохранилась, её фотографии хорошо известны. Вероятно, стоило бы хоть упомянуть о её современном виде. А там чётко видны *два* яруса: собственно здание мавзолея и его подножие из *семи* суживающихся ступеней. Пусть даже на имеющихся снимках не все ступени видны, пусть частично их число было нарушено при реставрациях — первую из них провёл ещё Александр. Пусть их было 9, плюс сам мавзолей — итого 10. Кстати, действительно ли именно эта гробница была так важна, что могла претендовать на роль центра мира? Но обо всём этом следовало хотя бы упомянуть: ведь именно из того, что центральный пункт карты «Bar-po-so-brgyad» означает Пасаргады (Гумилёв, Кузнецов 1969: 90), исходит вся дальнейшая реконструкция! И если упомянутая башня окажется не гробницей Кира, то и Шамбала — не «царство Селевкидов». А что же она в таком случае? — Не знаю, да это и не наша нынешняя тема. Хотя следует признать, если предположение Л. Н. Гумилёва и В. И. Кузнецова действительно верно, оно очень заманчиво для изучения законов формирования и функционирования мифов (в том числе и утопий).

Такова картина с филологическими вылазками Л. Н. Гумилёва. Впрочем, справедливость требует отметить, что его маститый критик — «Московский академик» — поступал так же:

«... используя данные языка как источник, Рыбаков не базируется на чьих-либо исследованиях, а предпринимает разыскания самостоятельно, хотя не имеет в лингвистике ни специальной подготовки, ни хотя бы интуиции. Только смелость. Его экскурсии в лингвистику просто ужасны. <... > любой лингвист отшатнётся от них в остолбенении. Он скажет, что языковые связи нельзя устанавливать по чисто внешнему сходству, что нужно знать внутреннюю форму слова, знать законы соответствий и словоизменения, родство слов. <... > Даже дилетанта могло бы удержать от сверхсмелых сопоставлений интуитивное чувство слова, но и такого чувства у академика Рыбакова нет» (Клейн 2004: 88; аргументы — там же: 88—94).

«Сверхсмелая» лингвистика Б. А. Рыбакова дала зелёный свет массе работ совершенно ненаучного (и обычно националистического) толка. Впрочем, сам академик её не изобрёл, а лишь придал ей своим примером статус легитимности в советской (и, как выясняется, в постсоветской) науке.

Но даже этой «сверхсмелой» лингвистике далеко до построений В. Н. Дёмина. В его концепции филологическим играм отведено почётное место: «Если других фактов не сохранилось, а материальные памятники либо не распознаны, либо скрыты под арктическим льдом, — остается прибегнуть к испытанному средству — реконструкции смысла. Ибо язык как хранитель мысли и знаний исчезнувших поколений такой же надежный памятник, как каменные мегалиты — дольмены, менгиры и кромехи. Нужно только научиться читать скрытый в них смысл» (Дёмин 1997: 65). При этом автор претендует на открытие целой новой области науки: «Макроэтимология же позволяет отвлечься от частностей, мелких деталей, нудных транскрипций, традиционных подходов, заостренных схем, ползучего эмпиризма, — и, воспаряя высь, взглянуть на современную лексику с высот тысячелетий. Безусловно, вероятность погрешности в макроэтимологических изысканиях достаточно велика, но не настолько, чтобы отступить от научности, и не намного выше традиционных микроэтимологических выкладок, учитывая значительную вариативность и гипотетичность последних» (Дёмин 1997: 39). Нужно ли гадать, что последует дальше?

Так, он сближает «вышний», «вечный», «вещий» и «вешний» с именем индоарийского Бога Вишну» (Дёмин 1997: 34, со ссылкой на А. Ф. Вельтмана). Слово «фараон» у него происходит от имени Протея (Дёмин 1997: 162), имя горгоны Медузы — от «медовых усов» (: 108—109), гора Меру — от «моря» (: 201). Греческий титул Евпатор — «равный отцу» — у него означает «благородный» (: 77). О татарском происхождении слова «карга» (ворона) ему неизвестно, что и позволят уверять: «Лексема “кара” наверняка тоже доиндоевропейского происхождения. В русском языке данная корневая основа входит в слова “карать — кара”, “карга” и др.» (Дёмин 1997: 474).

Не случайно автор сочувственно ссылается на Ариэля Голана (1994) — израильского автора, подобным же образом «доказавшего» происхождение всех религий мира от одной и той же неолитической религии. Например, практически все слова, в которых обнаруживается сочетание *k.l/k.r*, А. Голан считает восходящими к имени неолитической Великой богини (индийская Кали), к какому бы языку они ни относились. В этом ряду соседствуют ностратическое **kala* ‘сосуд, горшок’ и **kola* ‘круглый’, кельтский *caldron* ‘сосуд матери мира’, *Каледония*, нимфа *Каллисто*, греческие *kaliptra* ‘вуаль’ и *kalon* ‘дерево’, баскское *kolko* ‘женская грудь’, еврейское *kelil* ‘венец, корона’, армянское *kal* ‘хромой’, датское *kilde* ‘источник’, русские *калика* ‘паломник’ и *колдыга* ‘хромой’, тюркские *kalyk* ‘народ’⁸³ и *kol* ‘просить, молиться’ (Голан 1994: 13—14). Принимая реконструкцию А. Голана, В. Н. Дёмин (1997: 190—193) добавляет к ней свой список топонимов — от *Колгуева* и *Колымы* до царства *Колья* в доинкском Перу, не исключая, конечно, и принципиально важные для его концепции *коло* и *коляду*. Правда, именно в этом месте на А. Голана он не сослался. А Г. Вирт (2007: 425) включает в список даже немецкое *Kirche* ‘церковь’ как «древнейшее слово культуры Туле». При этом связь между разнообразным, скажем мягко, значением этих слов и Великой богиней постулируется на основе простого созвучия: «Старинное русское слово *калика* ‘паломник, нищий, поющий духовные песни’, надо полагать, произошло от имени богини, которую в своих песнопениях славяли бродячие жрецы» (Голан 1994: 13).

⁸³ Реально: татарское *халык*, гагаузское *halyk* и т. д.

Однако при этом, как и во всём остальном, этот автор крайне наивен. Так, он поминает «славяно-русское имя Олен[ь]» (Дёмин 1997: 102) — почему не просто славянское или русское? Или русский язык — уже не славянский? Для него нет разницы между звонкими и глухими согласными: «На северную принадлежность понятия “лето” указывает также и то, что при чередовании согласных звуков “т” и “д” (или же “т” можно рассматривать как приглушенный “д”) получается “лед”» (Дёмин 1997: 104). Пирамида для него — «*piramis*» (Дёмин 1997: 198), хотя на той же странице приводится рисунок, на котором видно правильное *pyramis*. Вообще, палеография для нашего автора — тёмный лес. Его трактовка иероглифов напоминает изящную шутку барона Брамбеуса:

«Я растолковал ему, что, по нашей системе, всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, чем читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему» (Сенковский 1986 {1833}: 16).

Однако что иероглифы! С историей русского языка не лучше: «В “Задонщине” — Слове Софония-рязанца соколы, кречеты, ястребы совокупно олицетворяют ратников Дмитрия Донского и перечисляются *через запятую*: “Ужо бо те соколе и кречеты, белозерския ястребы борзо за Дон перелетели и ударилися о многие стада гусиные и лебединые” (а чуть раньше были еще и орлы)» (Дёмин 1997: 113; выделено мной — Л. М.). Ничего Софоний-рязанец не перечислял через запятую, и по вполне уважительной причине: в русском языке до XVII века вообще не было знаков препинания. Они и в Европе-то были введены только в эпоху Возрождения, и довольно долго на месте нынешних запятых и двоеточий ставились весьма странные, на наш взгляд, комбинации. Так что все запятые в этом тексте — от издателей Нового времени.

В другом месте выясняется, что «и русское “А”, восходящее к греческой “альфе” (а та, в свою очередь, — к финикийскому первообразцу), своей остроугольной, направленной вверх формой как раз адекватно и воспроизводит архаичную символику Вселенской горы Меру» (Дёмин 1997: 199). Про «финикийский первообразец» лучше было и не вспоминать: его «остроугольная форма» направлена не вверх, а влево или даже вниз, и изображает не гору, а бычью голову, что отражено и в названии буквы: *алеф* — «бык». В самом деле, если буква А изображает Мировую гору Меру, а эта гора во всех языках называлась почти одинаково (на чём автор настаивает), — тогда почему эта буква читается «а», а не «м»?!

О том, насколько ненадёжны филологические построения, не контролируемые источниками и данными других наук, говорит воспоминание замечательного советского филолога Л. Успенского в его «Слове о словах». Ещё молодым учёным он как-то должен был разобраться в происхождении фамилии Козодавлева, известного министра времён Александра I. Логика была безупречна: фамилия явно русская. Суффикс =*ев* явно означает принадлежность. Перед ним — суффикс =*ль*: с тем же значением, только древнерусский и теперь уже обычно слившийся с корнем (*Ярославль, Путивль*). Оба суффикса объяснены, остаётся «козодав» — чётко распадающийся на два корня *коза* и *давить* с соединительной гласной *о*. Итак, Козодав-

лев — «потомок потомка кого-то, кто давил коз». Всё ясно, кроме одного: зачем он это делал?! Что это: профессия, обряд, садистская склонность?

И тогда юный филолог прибег к *историческому эксперименту*: пошёл в архив и отыскал документы о первом известном предке рода Козодавлевых. Его фамилия оказалась... *Koss von Dahlen*. Сработал известный принцип «народной этимологии»: непонятное иностранное слово превращается в более понятное на родном языке, пусть даже и бессмысленное. Как в петровском флоте переименовывали английские команды (примеры — в той же книге Льва Успенского): *ring the bell* превратилось в *рынду бей*, а *yes* — в *есть*. Как село Саари («остров») превратилось в Сарское, а затем и в Царское Село. Ещё Пушкин допускал разнобой в этом написании — например, в письме М. П. Погодину между 27 и 30 июня 1831 г.: «Пишите ко мне прямо в Царское или Сарское Село». А казалось бы, что в этом названии неясного: там ведь жили цари!

И наконец: при всех экскурсах в филологию в списке литературы В. Н. Дёмина нет ни одной ссылки на издания на иностранных языках! И это при том, что в тексте упоминаются и И. Великовский, и аргентинец Ф. Амегино, и другие иноязычные авторы, не переведённые на русский язык, причём упоминаются сочувственно. Как же он ознакомился с их идеями? Но главное — знал ли он языки, на которых не читал?

Г. Вирт свободно вписывается в этот же ряд. Не будем уж упоминать о рунологических штудиях. В конце концов, руна — та же буква, а символическое значение буквенных аббревиатур тоже выходит далеко за пределы прямого значения букв, из которых они составлены. Так, сочетание «СССР» невозможно расшифровать, опираясь *только* на происхождение и значение букв, входящих в его состав. Тем более что рунологии и по фантазии, и по разработанности далеко до давней и почтенной китайской традиции толкования иероглифов (причём, в отличие от Горাপоллона, китайские толкователи хотя бы знали произношение и понимали значение того, что они толкуют). Но Вирт претендовал на роль именно учёного, а в таком случае его вольное отношение к научному методу недопустимо. Тут он напоминает героя Л. Н. Толстого, отбившегося от противника с помощью дубины, но настаивающего, что победил он на шпагах (*Война и мир*, т. 4, часть III, 1). Тем более что в случае с Виртом и о победе говорить не приходится.

«Свободно сопоставляя данные древнейших языков, Вирт и не задумывался о том, что нужно следовать принципам историзма или тем правилам, на которые ему указывали коллеги-филологи» (Кондратьев 2007: 47). Место «древнейшего корня» **k-l/k-r*, из которого А. Голан и В. Н. Дёмин выводят чуть ли не все сакральные слова, у Вирта с не меньшим успехом занимает корень *t-r/r-t* (Кондратьев 2007: 33—34). «Выстраивание всевозможных цепочек идентификаций вообще характерно для ариософии: именно в этом вопросе Вирт крайне напоминает других германистов ариософского толка...» (Кондратьев 2007: 47). Но ещё более — героя рассказа Шолом-Алейхема «*Два антисемита*», который из Хаима стал Арнольдом. Это, мол, одно и то же имя — доказать проще простого! Берём имя «Хаим», выбрасываем все буквы, кроме *a*, потом наращиваем *p*, *n*, и так далее...

В. П. Даниленко, профессиональный лингвист, замечает, что Г. Вирт порвал со всей предшествующей наукой о происхождении языка. Так, первичный язык у него почему-то оказывается агглютинирующим, а переход «от агглютинативных

языков к флективным расценивался Г. Виртом как окончательная смерть нордического языка, который представлял собою высшую форму языка, поскольку в нем господствовал такой порядок, о высоком уровне которого мы можем судить уже по тому, что даже отдельные звуки были связаны в нём с определенным типом значения» (Даниленко 2002). Столь смелое утверждение нуждалось бы в аргументах, однако их-то как раз ни Вирт, ни А. Г. Дугин в изложении идей Г. Вирта не приводит. Обоснование заменяется огульным отрицанием «профанной лингвистики» как варианта официальной науки.

Но зато у О. Шпенглера и особенно А. Дж. Тойнби экскурсы в филологию не играют заметной роли. И — что особенно следует подчеркнуть — к ним не прибегает в своих исторических трудах кн. Трубецкой. Не потому ли, что — единственный из рассматриваемых авторов — сам он был действительно крупнейшим филологом, основателем структурной лингвистики? Не потому ли, что он понимал пределы возможностей своей науки и потому умел не переступать эти пределы?

IV.8. Системные закономерности и «синергетика этноса»

Есть, правда, одно весьма интересное различие между нашими авторами: вопрос об отношении к обществу как к системе и о роли хаоса в этой системе. У Розенберга такой проблемы нет: в его время мыслить подобными категориями ещё не было привычно. Да и хаос (особенно «расовый хаос») он понимает ещё не современному: не как условие порядка, а как его гибель.

Гумилёв же постоянно возвращается к понятиям общей теории систем, создателем которой считает одного лишь Людвиг фон Бергаланфи (Гумилёв 1990: 25—26). На самом деле этот исследователь скорее ввёл сам термин и привлёк к системным законам внимание научной общественности. На роль отцов общей теории систем выдвигались также А. Н. Уайтхед и Р. Фишер, который якобы «был первым (!) учёным, решительно заявившим, что не все системы могут быть разделены на простые части» (Волков 1985: 120, сн. 1). В действительности же системный подход с блеском применяли уже Гегель в логике и Маркс в политической экономии (см.: там же, 120—122). Что же касается основного принципа системного подхода — принципа холизма («целое больше, чем сумма его частей»), — то он был выдвинут ещё Аристотелем.

В конце одной из поздних своих книг Л. Н. Гумилёв прямо ссылается на входившую в то время в моду синергетику, протягивая между ней и своей концепцией нить преемственности: «Поэтому хронологические уточнения (как характеристика развития) имеют значение для множества уровней: от атомного и молекулярного (у И. Пригожина) до популяционного (у автора этих строк)» (Гумилёв 1990: 238). Однако, судя по правописанию «синэргетика» (там же), по ошибке в отчестве Ильи Романовича Пригожина («открытие И. С. Пригожина...» — там же: 240), по ограничению его выводов «атомным и молекулярным уровнем», по искажённой ссылке: «Пригожин И., *Стенире* И. Порядок из хаоса. М., 1966» (там же: 262, курсив везде мой — Л. М.) — то есть за 18 лет до выхода английского оригинала и за три года до появления самого слова «синергетика» (ср.: Пригожин, Стенгерс 1986; Хакен 2000), — ясно, что Л. Н. Гумилёв был с этой книгой слабо знаком. Однако многие